**Дадаистская хаотология. Семантические цинизмы**

Петер Слотердайк

1. Вокруг огненного шара бешено носится комок грязи, на котором продают дамские чулки и оценивают Гогенов...

Пинок — космосу! Да здравствует Дада!

Вальтер Зернер. Окончательное раскрепощение (1918-1920)

Мы вправе развлекать себя как угодно — звуками, формами, цветами, шумами; но все это — та прекрасная чушь, которую мы осознанно любим и изготовляем,— есть чудовищная ирония, как и сама жизнь; точная техника окончательно постигнутой бессмыслицы как смысла мира.

Рауль Хаусманн. Немецкий обыватель сердится

Гиндендорф, Люденбург — это отнюдь не исторические имена. Есть только одно историческое имя: Баадер.

Иоганнес Баадер. Реклама меня самого

Пусть живет все, но лишь одно должно исчезнуть раз и навсегда — бюргер.

Рихард Хюльзенбек

С возникновением Дада на сцене появляется первый неокинизм XX века. Его атака направлена на все, что принимает себя «всерьез», будь то в сфере культуры и искусств или в сфере политической и буржуазной жизни. Ничто другое в нашем столетии не поражало с такой злостью еsprit de serieux, как беглый дадаистский огонь по нему. Дада по сути своей не течение в искусстве и не течение в антиискусстве, а радикальная «философская акция». Он развивает искусство воинствующей иронии

От буржуазного «института искусства» (Петер Бюргер) Дада требует только одного: того мотива, который обеспечил искусствам в буржуазный век их философский момент,— момент аморалистской свободы выражения. Однако искусство давно уже перестало быть тем, что оно некогда представляло в своей сущности и на неокинической первоначальной фазе времен его возникновения (то есть на стадии буржуазной «Бури и натиска» в XVIII веке),— оно уже перестало быть той средой, в которой находит свое выражение «истина». То, что предстает перед взором дадаистов, оказывается искусством эстетским, искусством для искусства, которое относится к себе самому с убийственной серьезностью и пиететом, превращаясь в замену религии и в средство для приукрашивания «уродливой буржуазно-капиталистической действительности». Поэтому для дадаистов суть дела состоит именно в том, чтобы восстановить философский импульс искусств — их волю к истине — в противовес гипертрофированному разрастанию в них эстетики, изысканного изящества и далекого от жизни суетного тщеславия. Осуществляя свой переворот, они приравнивали искусство к тому, что тогда презрительно именовалось «ремесленничеством от искусства», к тому преуменьшающему серьезность всего украшательству, которое шло навстречу потребностям «обывателя» в увеселениях, развлечениях и в отвлечении от действительности. В противоположность этому действительность имела для представителей авангарда вкус самой что ни на есть сырой и грубой негативности, и именно это объясняет, почему мирные и антимилитаристски настроенные дадаисты Цюриха в 1916 году (почти все без исключения — эмигранты из воюющих стран) причисляли к своим врагам даже пацифистов — по той причине, что последние, будучи постыдно нереалистичными, противопоставляли реальности голый идеал мира. Здесь впервые проявляется почерк кинического модерна: сказать «Да» действительности как действительности, чтобы оказаться в состоянии нанести пощечину всему, что является всего лишь «прекраснодушным мышлением».

Ремесленники от искусства со всего Цюриха сомкнутыми рядами выступили в поход против нас. Это было прекраснее всего: теперь мы узнали, с кем имели дело. Мы были против пацифистов, потому что война вообще дала нам возможность существовать во всей нашей славе. А тогда пацифисты были поприличнее, чем сегодня, когда каждый глупый мальчишка со своими книжками желает вовремя воспользоваться конъюнктурой. Мы были за войну, и дадаизм еще и сегодня за войну. Вещи должны сталкиваться друг с другом: того, что происходит, еще мало — все далеко не так сурово и жестоко, как оно должно быть.

Таковы были слова, которые демонстративно преподнес публике Рихард Хюльзенбек в своей первой дадаистской речи в Германии, произнесенной в феврале 1918 года в Берлине. С точки зрения морали такой текст просто не понять, точно так же, как и с точки зрения психологии. Чтобы вникнуть в суть подхода Хюльзенбека, нужно вначале освоиться с его иронически-полемической манерой выражаться: он пробует новую тактику подхода к предельно щекотливой теме — упражняется в искусстве на иронически-грязный лад ( объявлять себя согласным с самым что ни на есть мерзким. С помощью своих цинических речей он формирует представление о некоем Я, стоящем по ту сторону добра и зла, которое желает быть таким же, как его безумная эпоха.

В этот момент война еще бушевала на фронтах в полную силу. «Ценности» Запада терпели «крах», точно так же, как немецкий западный фронт к тому времени, а заодно терпела крах и целая эпоха, которую именовали буржуазной,— состарившееся XIX столетие. В материальных битвах мировой войны Европа переживала «возвращение вытесненного»: из фальшиво-мирного империалистического мещанства вновь проглянул Зверь, Бестия. Буржуазный дух прогресса был утопией, не имевшей ничего общего с реализмом,— то, что слишком долго отрицалось и отвергалось, ответило на эту утопию ужасающими разрывами снарядов. После Ницше дадаисты были первыми, кто пытался отнестись к возвращению вытесненного позитивно. При этом они придали новый поворот праву художника на избавленную от всех ограничений «свободу» выражения. Между менталитетом генералов, которые всерьез были «за», и менталитетом пацифистов, которые всерьез были «против», дадаисты сформировали свободную от всяких угрызений совести третью позицию: быть «за», но не всерьез.

Дада черпает часть своей побудительной силы из ощущения, что он смотрит на мир с непобедимой трезвостью. Дадаисты подают себя в духе патетического позитивизма. «Голые факты» неуклонно и неумолимо отделяются от фраз, «голая» культура — от жестокой реальности.

Мы не пропагандируем никакой этики, которая всегда остается идеальной (что есть мошенничество)... Мы желаем разумно упорядочить экономическую науку и сексуальность, и мы плюем на культуру, которая не представляла собой чего-то реально-осязаемого. Мы желаем ей конца... Мы хотим мира подвижного и изменчивого, хотим беспокойства вместо покоя — долой все престолы, долой чувства и благородные жесты... (Рауль Хаусманн. Немецкий обыватель сердится).

В «дадаистском манифесте» сказано:

Слово «Дада» символизирует простейшее отношение к окружающей действительности, с появлением дадаизма вступает в свои права новая реальность. Жизнь предстает перед нами синхронным хаосом шумов, цветов и духовных ритмов, который вбирается в дадаистскос искусство со всеми сенсационными криками и лихорадочными проявлениями, с его отчаянным духом повседневности и со всей его жестокой реальностью.

В дадаизме индивиды впервые осознанно производят то преобразование современного отношения между Я и миром, которое может служить образчиком для всей субъективности, присущей модерну: кинический индивид отказывается от позы покоящегося в себе творца искусства (гения), от позы мыслителя, постигающего весь мир (философа), и оборотистого предпринимателя; скорее, он сознательно полностью отдается во власть данному. Если то, что движет нами, жестоко, то и мы жестоки. Дада не окидывает взглядом упорядоченный космос. Для него важно сохранить самообладание в условиях хаоса. Посреди кровавой сутолоки была бы бессмысленной поза великого мыслителя, характерная для хладнокровно-обеспокоенных философий жизни, распространенных в то время. Дада требовал от человеческого существования абсолютного соответствия своему времени, тенденциям его собственной эпохи,— то есть экзистенциального авангарда. Только тот, кто находится в самых передних рядах, идет в ногу со временем: война как обретение мобильности и освобождение себя от всяческих тормозов; самые что ни на есть прогрессивные методы разрушения (вплоть до сферы искусств), антипсихологизм, антибуржуазность. (Пафос истины для этого течения заключался в том, чтобы каждым нервом чувствовать время, мыслить и жить в одном ритме с ним.

Здесь появляется философский отклик: Дада предвосхищает мотивы экзистенциальной онтологии Хайдеггера, которая, со своей стороны, на высочайшем понятийном уровне критикует ложь о субъекте, свойственную европейской философии власти и господства. Я не властелин мира, напротив, Я живет в этом мире под знаком заброшенности (в него); правда, мы строим «проекты» в надежде «выброситься из заброшенности » но и они опять-таки являются «проектами-из-заброшенности», так что первична структура, пассивная по отношению к бытию. А в то же время мы слышим:

Быть дадаистом — значит отдаваться во власть вещей, позволять им бросать себя как угодно, не позволять себе превращаться в осадочную породу: просидеть даже минуту на каком-то стуле — значит подвергнуть жизнь опасности... («дадаистский манифест», листовка 1918 года).

Можно было бы прийти к мысли, что экзистенциальная онтология — это созданная вдогонку академическая версия «дадасофии» или «дадалогии», причем Мартин Хайдеггер с огромным успехом мог бы оспаривать у Иоганнеса Баадера титул Главного Дада. Тайна его успеха заключается именно в том пункте, который составлял «слабое место» Дада — в серьезности. Не блестящие в своей несерьезности продукты дадаистски «заброшенных» художников жизни и их политизированная сатира, а заброшенность в серьезном ее варианте обеспечила победу в этом состязании.

Дадаистская атака имеет два Аспекта — кинический и цинический. Сам дух первого легкомысленно расточителен и продуктивен, ребячлив, мудр, щедр, ироничен, независим, неуязвимо реалистичен; второй аспект есть проявление сильных деструктивных противоречий, ненависти и высокомерных защитных реакций на буржуазные фетиши, проникшие в собственный внутренний мир, проявление множества проекций и быстрой смены аффектов — презрения и разочарования, самоожесточения и утраты иронии. Разделить эти два аспекта непросто; они делают феномен Дада в целом сложным комплексом, который играет самыми разными красками, а потому не поддается упрощенным оценкам и не может вызывать однозначных чувств. И по отношению к фашизму Дада занимает амбивалентную, противоречивую позицию: кинические элементы Дада, безусловно, заставляют отнести его к антифашизму, к логике и «эстетике Сопротивления»; цинические элементы в нем, наоборот, определяют его тенденцию развития к предфашистской эстетике уничтожения, которая хотела бы с наслаждением предаться опьянению от разрушения. Конечно, Дада борется против «убийственной серьезности» — но и сам глубоко заражен ею с ее агрессивными аспектами. Дадаистам никоим образом не удалось отнестись иронически к своим собственным мотивам: в их иронических позах осталось много несвободной деструктивности, и можно было бы показать, что в их стремлении полностью отдаваться во власть вещей на самом деле много скрытого сопротивления и самоожесточения в закоснении.

Дадасофия развивает то здесь, то там мистически-иронические видения, которые прославляют жизнь в ее нерасчлененной полноте, вот только делают это предельно выспренним тоном, как в прокламации Главного Дада Иоханнеса Баадера:

Дадаист — это человек, который любит жизнь во всех ее необозримых проявлениях, который знает и говорит: не только лишь здесь, но и там, там, там\* есть жизнь! Следовательно, истинный дадаист овладевает (?) и всем регистром (!) \*\* человеческих жизненных проявлений, начиная от гротескового передразнивания самого себя и кончая священнейшим словом богослужения на полностью созревшем, принадлежащем всем людям шаре Земли...

Еще в таких отличающихся гигантоманией гимнах главы секты дадаистов Баадера, который дал провозгласить себя Президентом Вселенной, находят свое проявление типичные попытки сказать «Да» абсолютно всему, в чем ирония Дада хорошо согласуется с киническим аспектом религии (ср. восприятие музыки дадаистами, в особенности у Хуго Балля).

В дадаизме делается попытка создать временную философию «Да», которая связывается, прежде всего, с конкретной, сиюминутной, зависящей от быстро меняющегося настроения и творческой энергией индивидуума-дадаиста. Это «Да» относится к тому состоянию мира, по поводу которого он иронизирует, но еще больше — к переживаемому мигу, в который осуществляет себя вечное и быстропреходящее настоящее и реализуется экзистенциалистская парадоксальность внутренней «длительности», которая пронизана на- сквозь завихрениями мира и в то же время остается незатронутой ими \*\*\*. Для того чтобы этот витально-динамический элемент вышел на передний план, нужно уничтожить культурную надстройку. Поэтому дадаисты и в экспрессионизме видели зачастую только продолжение немецкого идеализма: «отвратительное затемнение и сокрытие вещей, именуемое экспрессионизмом».

Первым экспрессионистом, изобретшим «внутреннюю свободу», был обожравшийся и опившийся саксонец Мартин Лютер. Он способствовал протестантскому повороту немцев к не поддающемуся объяснению «внутреннему миру», равносильному изолганности, жонглированию воображаемыми страданиями, темным пропастям «души» и их власти, сочетающейся с рабской покорностью по отношению к насилию властей; он породил Канта, Шопенгауэра и сегодняшний идиотизм искусства, который тупо смотрит на мир, в упор не замечая его, и полагает, что таким образом преодолеет его (Рауль Хаусманн. Возвращение к предметности в искусстве).

Это созвучно киническому реализму Ницше: здесь налицо те же антипротестантские мотивы. Дадаистскому «Да» действительности и реализации себя в действительности совершенно безразлично, что скажут эксперты, знатоки, снобы и критики. Можно понимать дадаизм как пролог к эмансипации дилетантов, который построен на том, что радость, испытываемая от процесса творчества, важнее чем достижение результата. Способность достигать результата — всего лишь довесок к подлинности; ценны не остающиеся произведения, а сам миг их интенсивной реализации.

\* «Там, там, там» — по-немецки «dа, dа, dа».— Прим. перев.

\*\* Вопросительный и восклицательный знаки в скобках вставлены в приводимую цитату, чтобы подчеркнуть использование «властной» лексики в ней: «овладевает» — «beherrscht» — в буквальном переводе означает «становится господином »; «регистр» — «Register» — кор- нем своим указывает на «управление, правление», ср. «regieren» — «править».— Прим. перев.

\*\*\* Дада может быть понят, в сущности, как школа «субъективного» позитивизма, в отличие от «объективного» позитивизма Логического Эмпиризма. Оба позитивизма роднит их радикальный семантический цинизм. Дада говорит о «бессмыслии» в экзистенциальном отношеиии; логический позитивизм — об отсутствии смысла у высказываний (например, у метафизических).

В дадасофии всплывает и еще один ницшеанский мотив — возвращение того же самого. В великолепном скетче «Все улажено посредством Дада. Триалог между человеческими существами» затрагиваются самые различные исторические эпохи:

Дада существовал всегда, в Древнем Египте точно так же, как в Европе или в Мексике. Дадаист, дорогой мой доктор Смартни, не зависит от времени...

...Это постоянно рождается вновь и вновь, это передается через цепь поколений. Дада — это выдающийся метафизический вопрос...

Дада — великое испытание для почек и ловушка для моралистов...

Вот вы считаете его религиозной доктриной древнеегипетской секты. Но ведь Дада проявлялся и в Индии. Он культивировался шиваитами левой руки. В эпосе о Гильгамеше у древних ассирийцев мы находим указания на то, что Дада тождествен с рождением мира. В мистериях, посвященных Дионису, вы найдете Дада точно так же, как в предсказаниях оракула Зевса в Древней Греции.

Дада есть великая ирония, он выступает как направление и в то же время отнюдь не является направлением...

Сексуальный маньяк-убийца Элтон был дадаистом, когда писал в дневнике: Killed today a young girl, it was fine and hot..

Дадаистом был Манолеску, когда он выдавал себя за князя и снимал помещение при дворе кайзера, не зная, из каких средств он будет платить по счету. Дада — это американская сторона буддизма...

Дадаистские документы всегда подделывали...

Причина того, что дадаистекое мышление не позволяет резюмировать себя в какой-то одной формуле, заключается в его структуре, которая меняется с каждым моментом. Оно все время в движении — в процессах, в скачках, в соли анекдотов и шуток, которые, в принципе, невозможно изложить в сокращенной форме. Осуществление его — это сама вещь (мотив, который, впрочем, доминирует во всей философии рефлексии, особенно у Фихте и Гегеля). Попытаться сказать что-то о сознании Дада, поднявшись над ним, означает почти автоматически тут же опуститься ниже его уровня. И если мы попытаемся сказать тем не менее что-то общее об этом, то предварительно особо подчеркнем, что предметом явятся не документы Дада, а метод Дада.

Я хотел бы назвать его методом «рефлектированного отрицания». Другими словами, это техника разрушения смысла, это метод нонсенса. Где бы ни появлялись надежные «ценности», высокие значения и глубокий смысл, Дада пробует осуществить разрушение смысла. Дада разрабатывает эксплицитную технику разоблачения ложного смысла — и тем самым выходит к более широкому спектру семантических иинизмов, с которыми демифологизация мира и метафизического сознания достигает радикальной конечной стадии. Дадаизм и логический позитивизм есть части процесса, который лишает почвы всякую веру в общие понятия , всемирные формулы и тотализации. Они оба работают уборщиками мусора в пришедшей в упадок европейской идейной надстройке. У дадаистов, которые целиком принадлежат к поколению, незадолго до этого еще с последним благоговением преклонявшему колени перед всем, что именовалось искусством, художественным творением и гением, таким образом, началась генеральная уборка и чистка в собственной голове, в их собственном прошлом. Они отрицали, становясь отступниками прежней веры в искусство, свою прежнюю форму жизни и традицию, в которой они больше не могли «сохранять свое неподвижное положение»: учреждение смысла посредством искусства и поднятие обычного до статуса исполненного смысла. Нанося ответный удар этой закатывающейся форме жизни, Дада находит саркастические выражения, в особенности тогда, когда он выступает против «последнего» направления в искусстве — против экспрессионизма:

Нет, господа мои, искусство вовсе не в опасности — ведь искусства больше не существует. Оно мертво. Оно было развитием всех вещей, оно еще обволакивало красотой картофелеобразный нос и похожие на свиное рыло губы Себастьяна Мюллера, оно было прекрасной иллюзией, исходившей от солнечно-веселого чувства жизни (!) — и вот теперь уже ничто не поднимает нас ввысь, ничто!.. Абсолютная неспособность... это — экспрессионизм... Пишущий или рисующий обыватель мог при этом вообразить себя форменным святым, он, наконец, как-то рос и поднимался выше себя самого, за свои собственные пределы — в какую-то неопределенную, общую всемирную опьяняющую мечту,— о экспрессионизм, ты, изменивший пути развития мира и направивший его к романтической лживости... (Хаусманн. Немецкий обыватель сердится).

Не случайно эта поза непримиримого критика искусства вновь обрела огромную популярность к 1968 году, когда Дада Новых Левых «возродился» в активизме, хэппенинге, «Gо-in», «Love-in», «Shit-in» — во всех телесных дадаизмах обновленного кинического сознания.

Дада поднимает бунт не против буржуазного «института искусства»\*. Дада выступает против искусства как техники придания смысла. Дада — это антисемантика. Он отвергает «стиль» как симуляцию смысла, как его подсовывание, как лживое «приукрашивание» вещей... Как антисемантика, дадаизм систематически разрушает,— разрушает не метафизику, а разговоры о ней: область метафизики освобождена и очищена, чтобы устроить на ней площадку для праздников; там дозволено все, только не «мнения». Дадаистская ирония должна сравняться по уровню своему с «иронией жизни» (Хаусманн). Даже дадаизм как стиль был бы уже шагом назад — и именно в этом смысле он становится достоянием истории искусства, которая помещает его в музей стилей и направлений, ставя в один ряд с другими. Предвидя это, Хаусманн говорил, что он, собственно, антидадаист. Поскольку Дада — это метод, его нельзя «усадить на стул», четко определить ему место и зафиксировать в неподвижности; каждый стиль — это стул. В этом смысле Дада понимает себя даже как «точную технику» — он всегда и методично говорит«нет», если появляется какой-то «смысл мира», который не признается, что он есть бессмыслица. Всякое формирование мнений, всякая идеализация снимается и преодолевается в духовном движении — монтаж и демонтаж, импровизация и опровержение самого себя прежнего.

\* Это замечание мимоходом по поводу вызвавшей много дискуссий «Теории авангарда» Петера Бюргера. По моему мнению, он неверно подходит к проблеме, а именно — с социологической стороны. В наши задачи, однако, не входит ее обсуждение. Для дадаистов искусство — это не «институт». Искусство — это машина для придания значения, и необходимо помешать ее функционированию или разрушить полностью. Отсюда семантический цинизм. Искусство — сектор Сверх-Я, составляющая авторитета: это следует прекратить. Отсюда анархический образ действий. Напротив, порыв, устремленный к жизни, направленный на снятие и преодоление путем воплощения в действительность,— это старое наследство: неокинизм XVIII века. В этом смысле лучшее буржуазное искусство является «авангардом» с тех пор, как oно существует. Оно первопроходец на пути к истине, пионер витальности современного общества.

Наибольшую заостренность дадаистскому семантическому цинизму придал писатель Вальтер Зернер, которого Т. Лессинг называл «немецким Мопассаном». То, что его вновь открыли в наши дни, свидетельствует, что и в ФРГ сформировалась публика, которая стала понимать толк в цинизмах и которая способна читать этого автора, потому что в его отточенном имморализме выказывает себя слишком хорошо понятный сегодня дух в высшей степени осознанных, «к сожалению, необходимых» злых поступков. Перу Зернера принадлежат сорок страниц уникальной прозы — «Окончательное раскрепощение», произведение, написанное в последний год Первой мировой войны и вышедшее в свет у Пауля Штегемана в Ганновере в серии «Серебряные кони». Это ряд философско-поэтических миниатюр, представляющих собой смесь критики культуры и цианистого калия. Ни одно из произведений не даст понять с такой остротой, как это, что означает «снятие и преодоление» — насильственное и в то же время легкое и увлеченное разрушение всех культурных семантик, смыслоприданий, философий и упражнений в искусстве. Эта проза наносит всему вокруг жестокие и элегантные удары. Зернер дает такую теорию языковых игр, рядом с которой витгенштейновская выглядит школьными упражнениями для серьезных «ученых дам».

В этом «раскрепощении» проглядывает и растормаживание определенной тенденции к суициду; интеллектуальная агрессивность направляется не только наружу и приводит не только к скандальному проявлению критики цивилизации. Зернер, наиболее склонный к рефлексии из всех дадаистов, дал себе отчет о том, что дадаистская ненависть к культуре направляется, естественно, и вовнутрь, против культуры-во-мне, которой я некогда «обладал» и которая ныне ни на что не годна:

Вот наилучшее предложение для вас: перед тем, как отойти ко сну, представьте во всех красках и с предельной ясностью последнее и окончательное психическое состояние самоубийцы, который с помощью пули хочет окончательно выправить себе самосознание...

Там, где все содержательное уже в счет не идет, остается только миг отчаянной напряженности, самосознание самоубийцы, которое уже «прошло через все». Экзистенция как бытие-к-смерти. Нет никаких сомнений в том, что дадаизм и хайдеггеровская экзистенциальная онтология подспудно глубоко родственны по духу.

Когда достигнута нулевая отметка смысла, еще проявляет себя патетическое презрение к смыслу — пронизывающее все отвращение к «позитивному»: «Мировоззрения — это смеси из слов». Вполне в позитивистской манере Зернер заглядывает в собственную голову и обнаруживает там слова и предложения, которые не увязываются в нечто единое. Это отсутствие взаимосвязи он проецирует на мир, который, соответственно, уже не может быть никаким «космосом». Дадаистская антисемантика логично переходит в антикосмологию. Отныне она не спускает глаз с человека, мастерящего мировоззрения и представления о порядке. Вначале был хаос, в который люди — от слабости и от жажды смысла — внесли в своих мечтах фантастическое представление о космосе:

Накрыть этот хаос из дерьма и загадок сулящими спасение небесами! Упорядочивая, наполнить благоуханием человеческое дерьмо!!! Благодарствую... Поэтому... в поте лица пишутся философии и романы, мажутся на холсте картины, лепятся корявые скульптуры, с кряхтением вымучиваются симфонии и запускаются в оборот религии! Что за потрясающее самомнение — тем более что все эти тщеславные ослиные деяния вполне неудачны (а особенно — в немецких краях). - Все сплошь — дрянь и безобразие!!!

Здесь выявляется одно из старых наивных представлений позитивизма: то, что он понимает мир как скопище «фактов», которые, по его мнению, точно так же проносятся в беспорядочном вихре, как предложения в головах логических позитивистов. Однако они, в отличие от Зернера, который пытается превзойти невыносимое посредством его приятия и одобрения, не выносят этого хаоса некоординированных предложений. Поэтому они примеряют на свои «факты» формально-логические корсажи. В подходе своем все они — хаотологи, и исходят из первичности неупорядоченного, из наличия супер- комплексов (фактов), из существования бессмысленного и превышающего наши способности к постижению; циническая семантика (вплоть до Лумана) не знает иного выхода, кроме установления порядка ценой культурного произвола или систематизирующего принуждения.

Мы видим, как обычно веселая дадасофия превращается у Зернера в лишенную юмора холодную романтику. Это романтика, которую отличает не наивность, а полное отсутствие таковой. Она поглощена заботой о том, как бы не допустить ненароком какого-нибудь наивного жеста или увлечения чем-либо. Это приводит к тому, что злобная рефлексия входит в саму ее плоть и кровь. Общему несчастью эпохи не противопоставляется никаких поисков лучшей жизни, напротив, делается попытка противопоставить заданному эпохой несчастью добровольно избранное «высокое» горе как суверенный триумф. Так рождается сознание, которое не только является отчаявшимся, но и поднимает свое желание быть твердым и жестким до статуса исходного пункта своей самостилизации. В своей безнадежно-неизлечимой саморефлексии Зернер упражняется в том, чтобы недоверчиво и сердито снабжать каждую «позитивную» мысль своими репликами, призывами к отстранению от нее и высокомерными комментариями, стремясь превзойти и перещеголять ее. Самопознание и саморазрушение сливаются воедино. Все есть сплошная злость, которая выплескивается наружу, но от этогоне наступает ни освобождения от нее, ни разрядки:

Выходит, зла сама жизнь? Несомненно:злость содержит больше всего искренности. Несомненно: все остальные состояния можно выдержать только благодаря тому, что где-то внутри скрыто продолжает существовать злость — или господин просто лицемерит... И все-таки: бессмысленность, которая достигла наивысшей точки в развитии,— это злость, злость и еще раз злость, но еще далеко не смысл...

В этом смысле существует некая незримая линия, связывающая воедино всю культуру, склонную к ненависти в нашем столетии,— от Дада до движения панков и некрофильных автоматоподобных жестов «новой волны». Здесь заявляет о себе маньеризм злобы, дающий великому мертвому Я тот пьедестал, с которого можно смотреть свысока на отвратительно-непонятный мир. Есть срочная необходимость в описании этих рефлексивных пространств в современном несчастном сознании, так как именно в них начинает развиваться и феномен фашизма,— постольку, поскольку он представляет собой воинствующий нигилизм. Даже в явной и очевидной глупости идеологии национал-социализма был скрыт, в структурном отношении, известный «момент изощренности». Дада демонстрировал циническое шоу, фашизм инспирировал борьбу несчастного сознания и независимости против чувства ничтожности, за величественные позы — против внутренней опустошенности. Семантический цинизм сопровождается не только суицидальными наклонностями, но и риском истерической реакции, что может быть показано на примере парадоксальной «чувcтвительности» фашизма, устраивавшего политический скандальный спектакль воскрешения «великого чувства», которое должно было прикрыть давно чувствуемое Ничто. В истерии проявляется стремление прорвать барьеры самоконтроля безжизненного повседневного Я. Истерией движет, согласно злому афоризму Лакана, поиск господина, которого можно тиранить. Если в Дада и была искра политической истерии, то она еще в значительной мере соответствовала реальности; ведь тот господин, которого ищет Дада, чтобы задать ему взбучку, существовал, и существовал за пределами дадистского сознания, в самой действительности, и, будучи господином, развя-завшим эту империалистически-буржуазную войну, он был объективно значительно хуже, чем всякая дадаистская выходка, пусть дажеи самая злая. Фашистская истерия в противоположность этому изобрела господина, которого намеревалась тиранить, и нарисовала себе на стене, словно черта, всемирный еврейский заговор, чтобы уничтожить народ, существовавший отнюдь не только в воображении.

Итак, окончательное раскрепощение Зернера так и осталось неокончательным. Он, насколько известно, на протяжении всей жизни не снимал маски джентльмена. Правда, он полагал, что мир «деградировал до собачьего состояния», но сам лично опасался «пройтись среди собак» (Кёстнер). Даже его утонченные детективные истории, призванные описывать «сучьи нравы», отличаются почерком, в котором больше от господина, чем от собаки.

Дадасоф Рауль Хаусманн был больше посвящен в тайны кинической сварливости, способной нападать, не впадая при этом в саморазрушение. Он сознательно ориентировался на более здоровые формы символической деструктивности, на «бдительность смеха, иронии и бесполезного», на «бурное веселье орфической бессмысленности». Так лают собаки Диогена. «Этот проклятый Христос сказал: „Посмотрите на лилии в поле" \*. Я говорю: „Посмотрите на собак на улице"» (Sublitterel. 1919. 5. 53) \*\*

**Экскурс 1. Предзакатные сумерки блефа**

Я знаю весьма точно, чего хотят эти люди: мир пестр, лишен смысла, претенциозен и при том интеллектуально напыщен. Они это хотят высмеять, разоблачить. Об этом-то и надо вести речь... Тот, кто страстно ненавидит, должно быть, держал в объятиях то, что теперь хочет испепелить. Курт Тухольский (Дада, 1920. 20 июля)

В лице Тухольского дадаисты, как кажется, находят первого доброжелательно настроенного исследователя их психологии. Он, выступая в роли популяризатора, попытался выделить доброе из злого, чтобы тем самым одновременно оправдать его и преуменьшить его значение. Тухольский снова переводит дадаистское «снятие и преодоление» на язык серьезности — он называет такой подход стремлением «понимать этих людей». Это люди, точно так же, как и мы, разочарованные скверным миром, разве что они более резко высказываются, отводя душу, чем наш брат. Берлинский феномен Дада, о котором здесь идет речь, Тухольский трактует как симптом великой утраты любви, из-за которой «Да» превратилось в «Нет», а любовь — в ненависть. Кажется, теперь, после объяснения его психического механизма, все снова встает на свои места. Если негативное и в самом деле есть только перевернутое позитивное, то об этом нужно знать, и тогда «об этом-то и надо вести речь». Так склонный к психологизму журналист раз и навсегда определяет, как следует обходиться с негативностью. Правда, он и сам чересчур хорошо умеет

----------------------------

\*\* Все цитаты из дадаистских произведений, на которые нет точных ссылок, взяты из легкодоступного сборника: Dada Berlin. Texte, Manifeste, Aktionen. Stuttgart, 1977.

иронизировать, но его манера отнимать у вещей их серьезность и значимость скорее приводит к меланхолии. Он совершенно не придает должного значения агрессивной иронии. Таким образом и выходит, что он со своим «пониманием» меланхолически преуменьшает значение того, что взялся объяснять, делая его мелким и несущественным: «Если отбросить в сторону все, что у этого объединения [дадаистов] является блефом, то останется не так уж и много». Но кто, спрашивается, сказал, что нужно «отбросить в сторону» блеф? Давая эту формулировку, Тухольский в своей серьезности демонстрирует непонимание сути дела. Ведь блеф лежит в основе всего метода Дада; блеф и озадачивание \* идут рука об руку и провоцируют эффект пробуждения от спячки. Дада создает свои построения в какой-то мере на фундаменте блефующего реализма и демонстрирует технику введения в заблуждение, разочарования как выведения из заблуждения и разочарования в себе как выведения из заблуждения самого себя. Выступая как методология блефа (подсовывание смысла и разрушение смысла), Дада иронически демонстрирует, как функционирует современная идеология; его прием: вначале сформировать ценности и вести себя так, будто веришь в них, а затем показать, что ты и не думал в них верить. С помощью этого самопреодоления мировоззрения («смеси слов») Дада выявляет modus operandi \*\* современного сознания со всеми его прочно вошедшими в привычку мошенничествами со смыслом. Тухольский не может или, скорее, не хочет увидеть этого. Он и сам еще постулирует объективный «смысл». Из-за этого он сбивает цену того предмета, который намеревался объяснить. Он не видит, что методы рекламы, политической пропаганды, активистских и неоконсервативных мировоззрений, индустрии шлягеров и развлечений и т. д. здесь разложены перед нами, словно в ящике для инструментов или, лучше сказать, как буквы в «кассе» для обучения грамматике, чтобы мы поняли их. Ведь Дада содержит теорию блефа в действии, а без учения о блефе, о шоу, о соблазнении и введении в заблуждение вообще невозможно верно понять структуры сознания модерна. Может навести на размышления тот факт, что Тухольский наблюдал поднимающий голову национал-социалистический фашизм с самого начала почти до самого захвата им власти с позиций своей «серьезной иронии» и говорил с огромным презрением о глупости, судорожной суете, блефе, позерстве и бахвальстве нацистов. Таким до конца оставался тон антифашистских фельетонов Тухольского, которым, впрочем, никак нельзя отказать в остроте. Но вот остроты действительного понимания ему явно недоставало. Он, как и все прочие ревнители меланхолической серьезности, так и не смог развить основанного на понимании отношения к «рефлексивной идеологии», а также к феноменам блефа и неподлинного мнения.(Совершенно иначе дело обстояло с Брехтом, который был способен изначально мыслить в формах мышления противника: «лавировать», тактически маневрировать, раскрепощаться до предела, но в то же время контролировать себя.)

\* В оригинале используется игра слов: "блеф" (Bluff) и "озадачивание" (Verblueffung)

\*\* Образ действия (лат.)

Политический морализм Тухольского яснее всего проявляется в его заметках по поводу процесса над дадаистами, представшими перед отделением по уголовным делам Берлинского суда в 1921 году. Процесс был посвящен тогда рассмотрению заявления, поступившего в суд от служащих рейхсвера, расценивших как преступление рисунки Георга Гросса «С нами Бог»\*, «на которых были изображены выражения лиц (солдат), отличающиеся чудовищной жестокостью». Пять обвиняемых: Баадер, Гросс, Херцфельде, Шлихтер и Буркхард (владелец галереи) обманули ожидания левых обозревателей, следивших за процессом; вместо того чтобы высказаться со всей откровенностью, они попытались уйти от ответственности, преуменьшая значение своего поступка и оправдываясь:

Пятеро на скамье подсудимых, и среди них только один оказался мужчиной — Виланд Херцфельде. Он был единственным, кто говорил то, что надо, и не увиливал... Никто из мальчиков так и не признался, что именно он разбил камнем окно... Что же касается Гросса, то я не знаю, можно ли объяснять слабость его защиты тем, что он не умеет говорить... Защитная речь Гросса спасла ему шкуру, но совершенно уничтожила его и его друзей. Вот как выглядела эта защита! А вы рассчитывали на что-то иное?

Разве здесь Тухольский не проявляет себя приверженцем устаревшей моральной психологии? Разве он не ратует за последовательность и демонстрацию сочных политических характеров ценой получения места на тюремных нарах? Побольше «идентичности», побольше верности убеждениям, побольше срок лишения свободы? Разве он не видит, что господствующая идеология желает именно этого — упечь идейных противников за решетку? Разве человек с убеждениями не выполняет функцию рекламы своих политических противников? Во всяком случае, примечательно то, что Тухольский требует проявить «характер» \*\* от людей, которые более или менее сознательно намеревались развивать ироническую стратегию. Вместо извлечения пользы из нового искусства «снятия и преодоления», Тухольский сделал ставку на меланхолическую тяжеловесность. Здесь он упустил случай приобрести опыт, который избавил бы его от «неожиданного» потрясения в 1933 году. Тот, кто рассматривает феномены блефа как нечто, подлежащее «отбрасыванию», отличается, должно быть, совершенной слепотой по отношению к фашизму, пусть даже и является самым смелым антифашистом в мире.

\* Надпись на бляхе ремня германских солдат.— Прим. перев.

\*\* Следовало бы написать историю идеологической борьбы между иронией и идентичностью, талантом и характером (ср. гневные выступления Генриха Гейне против немецкой «публики с характером»).

Более ясное видение проблематики блефа продемонстрировал Клаус Манн. Но и он смотрит на вещи, занимая оборонительную позицию:

От нацистов, у которых все. начиная от их «национализма» и кончая их «социализмом», является всего лишь тактикой (то есть блефом, трюком и мошенничеством), мы желаем отличаться прежде всего тем, что серьезно относимся к тому, что мы говорим; тем, что мы действительно думаем то, с помощью чего пытаемся агитировать за наше дело (Mann K. Heimsuchung des europäischen Geistes. Aufsätze. München, 1973. 5. 49).

Клаус Манн одним из первых ясно увидел цинические компоненты фашистской «идеологии». Он показал наличие почти что родства по духу блефа между артистом и фашистским политиком (ср. роман «Мефисто»). Однако остается вопросом, мог ли он, в свою очередь, действительно отнестись всерьез к антитезе этому, к антитезе стремлению «относиться всерьез». Что представляет собой такой антифашизм и антинигилизм, который сам, в сущности, стоит на том, чтобы значительно более уверенно, чем это позволительно, утверждать «противоположные ценности» и подавать себя всерьез, лишь бы не быть таким же циничным, как другие? Разве антинигилизм сам не есть всего лишь нигилизм, которому что-то помешало развиться?

Гросс, который в своих ранних произведениях дал полную волю всей той ненависти, которая накопилась в нем, много позже описал взаимосвязь между нигилизмом и ангажированностью (как антинигилизмом) так:

Мы требовали большего. Что означало это «большее», мы не могли сказать так уж точно; однако я и многие мои друзья не видели никакого решения проблем только лишь в отрицании, в ярости от ощущения обманутости и в отрицании всего доныне существовавшего мира. И таким образом мы, разумеется, все дальше и дальше эволюционировали влево...

Вскоре я с головой окунулся в политику. Я произносил речи — исходя не из каких-то убеждений, а просто потому, что повсюду и в любое время дня меня окружали спорящие, а мой собственный опыт еще ничему меня не научил. Мои речи были глупой, повторявшей чужие пустопорожние рассуждения просветительской болтовней, но когда тебя так и несет, можно прикинуться, будто ты увлечен донельзя. А часто действительно увлекает собственная болтовня — одним своим звуком, тем шипением, чириканьем и ревом, которые исходят из тебя!

Я никогда не участвовал в массовых поклонениях чему-то, даже и в те времена, когда еще делал вид, что верю в какие-то политические теории... (Grosz G. Ein kleines Ja und ein großes Nein. Hamburg, 1974. 5. 111).

Нужно, однако, сказать, что это слова другого Гросса, который в американской эмиграции, если выражаться в дадаистском стиле, уже сел «на стул» — «остепенился» как внутренне, так и внешне. В этом свидетельстве важно то, что оно исходит от человека, который прошел через весь цикл — негативизм, политическая ангажированность и отказ от нее — и, оставшись в живых, может документально зафиксировать весь этот процесс. Когда Гросс писал свои воспоминания, оба критика блефа — и Тухольский, и Манн — уже давно были убиты.